

1918–2008

УЛЫБКА ИСПОЛИНА

В ночь с 3 на 4 августа 2008 года ушел из жизни великий русский писатель Александр Исаевич Солженицын. 11 декабря этого года ему должно было исполниться 90 лет.

В истории русской культуры есть негласный моральный кодекс: жизнь великого человека, неважно, общественного, религиозного или литературного деятеля, в гораздо большей степени поверяется его смертью, чем рождением. Известный пушкинист Валентин Непомнящий считает это «пасхальной» чертой русской культуры.

Обстоятельства гибели Пушкина и Лермонтова интересуют нас больше деталей их рождения и детства. Предсмертный «уход» Льва Толстого из Ясной Поляны занимает в его биографии ключевое место. Смерть и похороны Пастернака являются едва ли не самым волнующим моментом его жизни — да, именно жизни, потому что смерть великого писателя в нашем сознании и есть последняя, главная «тема» его жизни. Так уж это у нас принято.

Александр Исаевич Солженицын (кстати, при жизни он не любил и не принимал «медийного» усеченного именования человека без отчества и, общаясь на церемониях вручения своей литературной премии даже с молодыми писателями, обращался к ним строго по имени и отчеству) прожил невероятную жизнь. Он был студентом, солдатом, боевым офицером, зэком, школьным учителем, борцом с властью, политическим изгнанником, Нобелевским лауреатом и, пожалуй, самым знаменитым из живых писателей мира. Но скончался тихо, в России. в Москве, в своем доме, и в последний путь его провожа-

ли любимая и любящая жена, три замечательных сына и уже их дети. Скончался, «насыщенный днями» (библейское выражение), получив от Бога дар такого долголетия, какого не имел ни один из русских классиков. В русском народе, мудром, как любой народ, в понимании не только жизни, но и смерти, принято говорить: «Завидная смерть». И ведь действительно, после первого чувства горечи от утраты невольно вспоминаешь именно эти народные слова.

Он не боялся смерти и однажды на собрании нашего премиального жюри прямо сказал, что смерти не боится, ждет ее спокойно. И дело, наверное, не только в том, что Александр Исаевич был глубоко верующим и церковным человеком, хотя, смею думать, именно этот момент был решающим в его отношении к смерти. Но не будем забывать, что на протяжении жизни он много раз был на волосок от смерти: на войне, в лагерях, болея смертельной болезнью, от которой в принципе не выживают... То, что он прожил столько лет, это несомненное чудо. И он сам, как известно, воспринимал свою жизнь мистически, как бремя долга перед высшей силой. Многих его противников это злило, они говорили о его «нескромности», но сегодня и враги вынуждены признать: этот человек прожил долгую жизнь не для себя, не для вполне доступных ему удовольствий и путешествий, но для ежедневной работы на благо русской литературы, России, как он это благо понимал. И секрет его долголетия был в этом: в каждодневном труде, — об этом не раз говорила Наталья Дмитриевна Солженицына.

У него было исключительное чувство драгоценности времени, какое обычно бывает как раз у людей, которые понимают, как Чехов, что им отпущен короткий жизненный срок. Он и здесь был исключением из правила: прожил почти 90 лет, дорожа каждой минутой жизни, боясь потратить ее впустую, буквально страдая от вынужденной праздности. В 60-е годы это поражало даже таких тружеников литературы, как Лидия Корнеевна Чуковская и Александр Трифонович Твардовский: что за человек! ни минуты лишней для просто разговора, для застолья, для того, что так ценится в интеллигентской среде! И когда он вернулся в Россию в 90-е, сколько было обид: не желает участвовать ни в одном парадном мероприятии, ни в одном общественном совете, собрании, заседании... Интервью дает, если только сам считает необходимым, фотографироваться не любит и вообще закрыт для журналистов. Писатели обижались: почему не принимает в своем доме — какое высокомерие! А он в этом плане, между прочим, был похож на Набокова, который тоже не терпел праздных писательских разговоров «с водочкой и селедочкой».

Мы еще долго будем всматриваться не только в то, что он оставил нам на бумаге, в его великие произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ», по существу, еще не прочитанное «Красное колесо», философский роман «В круге первом», в его гениальную публицистику, сравнимую разве что только с Герценом. Мы будем долго всматриваться в сам феномен этой личности, которая сама по себе есть великое жизненное произведение, великий русский роман с таким потрясающим героем, какого еще не знала ни Россия, ни весь мир.

Его слишком часто и порой совсем не по делу сравнивали с Львом Толстым. Но сегодня понимаешь: в этом сравнении есть глубокая правда. Родившись в 1828 году и скончавшись в первое десятилетие XX века, Толстой как бы «закрыл» своей личностью весь XIX век. Родившийся в 1918 году и ушедший в первое десятилетие XXI века, Солженицын «закрывает» XX век, великий и страшный.

И еще одно принципиально их сближает. История русской культуры и общественной мысли неизбежно разделится на «до Солженицына» и «после Солженицына», это уже всем понятно. А вот почему это так? Напомним слова Александра Блока, высказанные в статье «Солнце над Россией» к 80-летию Льва Толстого: «...писатель великой чистоты и святости — живет среди нас. <...> Часто приходит в голову: все ничего, все еще просто и не страшно сравнительно, пока жив Лев Николаевич Толстой. Ведь гений одним бытием своим как бы указывает, что есть какие-то твердыни, гранитные устои: точно на плечах своих держит и радостью своею поит и питает свою страну и свой народ. <...> Пока Толстой жив, идет по борозде за плугом, за своей белой лошадкой, — еще росисто утро, свежо, нестрашно, упыри дремлют, и слава Богу. Толстой идет — ведь это солнце идет. А если закатится солнце, умрет Толстой, уйдет последний гений, — что тогда? Дай Господи долго еще жить среди нас Льву Николаевичу Толстому. Пусть он знает, что все современные русские граждане, без различия идей, направлений, верований, индивидуальностей, профессий, впитали с молоком матери хоть малую долю его великой жизненной силы».

Александр Исаевич Солженицын был необъятного размера русский человек, один из редчайших единиц русских людей XX века, кто реально соответствовал масштабу России, ее культурному, историческому, да и просто географическому пространству. Можно не заметить гибели целой армии или закрытия крупного научного института, но смерть великого полководца и ученого переживается всеми, даже их врагами и противниками, потому что, в конце концов, вершина любой человеческой деятельности — это появление человека, который один соединяет в себе умы, таланты и нереализованные возможности тысяч и даже миллионов. Он, один, отвечает перед Богом за легитимность существования на земле нации, народа, а в результате и всего человечества, которое в таких людях обретает свое лицо.

Обратите внимание на портреты великих в школьных классах, на всех этих пыльных, засиженных мухами Сократов, Моцартов, Толстых, Менделеевых, размноженных в сотнях тысяч стандартных копий. Это не пустой ритуал, не скучное назидание детям. Это такие же окна в учебных классах, как и обычные окна, тоже пыльные, в царапинах и разводах, но без них нет света, без них — подвал, бомбоубежище, а не место жизни, учебы.

Мы потеряли именно такого человека, окно в Божий мир. Кстати, одна из последних статей Солженицына называлась «Потемщики света не ищут». С уходом Солженицына потемки в России сгустились очень сильно. На следующий день после его похорон началась грузинско-осетинская война, в которую втянулась и Россия. Еще несколько дней тому назад всякий здравый русский человек мог ждать оценки этого события от Солженицына. Ждать на законных основаниях, потому что нация вправе требовать от своего пророка разъяснения критических ситуаций. Но этого разъяснения нет и больше не будет. Молчание Солженицына уже сегодня звучит гораздо громче любых политических заявлений.

Не хочется говорить банальных слов о том, что оценка его творчества — дело будущего. Во-первых, это не вполне правда. Лично я не верю в не признанных при жизни гениев. Гений всегда современен, потому что он собирает в себе, в некой эмоциональной и интеллектуальной вершине, мысли и чувства своего народа «здесь и теперь». Чтобы часы гения били одновременно с часами будущих эпох и поколений (выражение Набокова о Льве Толстом), необходимо, чтобы они были заведены и сверены «здесь и теперь». Во-вторых, переоцен-

ка, переосмысление творчества великого писателя — это нормальный и, если угодно, рутинный процесс, который больше говорит не о самом писателе, но о том поколении, которое его переосмысляет. И наконец, великий писатель сам по себе есть не статическая величина, а процесс. Он развивается и в пределах собственной жизни, и даже посмертно. Он сам отрицает себя вчерашнего и сеет новые семена для будущего. Это, быть может, самое поразительное в нем, этот нескончаемый процесс развития «путем зерна». Евангельская эпитафия на могиле Достоевского в Александро-Невской лавре о зерне, что не возродится, пока не умрет, наверное, самая точная эпитафия великим писателям.

О произведениях Солженицына не надо беспокоиться. Поделюсь личным примером. Мой сын в возрасте от 17 до 20 лет перечитал «Архипелаг ГУЛАГ», наверное, раз пятнадцать. Я ему этой книги не навязывал, больше того, я, наверное, хотел бы, чтобы он столько раз перечитал «Капитанскую дочку». В какой-то момент у меня даже возникла тревога. Вдруг вспомнил главного героя фильма «Заводной апельсин». Идеальный подонок в тюрьме с наслаждением читал Евангелие, но при этом воображал себя не страдающим Христом, а римским солдатом, истязающим пленника. Что, если в моем сыне при чтении «Архипелага...», этой книги страданий и преступлений, просыпается не сострадание, а подсознательные садистские комплексы? Лежит себе на диване, грызет яблоко, упивается чужой болью.

Но потом я понял, в чем дело. Просто изнеженного в городских и в целом комфортных условиях мальчика завораживает описание другой жизни, где есть голод, холод, страх перед насильственной смертью, необходимость мужского выбора. Ведь память об этом тоже заложена в нем прежними поколениями на подсознательном уровне; читая это, он открывает в себе самом себя, ему неизвестного. Вот он тщательно прожевывает кусочек рыбы, чудом попавший в миску с баландой. Вот он постигает сложнейшее искусство, как не сдохнуть от холода в 50-градусный мороз. Вот арест, ночные допросы — и как себя вести, как отвечать, чтобы не стать амебой, медузой, человечьей гнилью? Здесь вам и «Капитанская дочка», и даже «Остров сокровищ», но в каком-то жутко реальном, пугающе близком историческом варианте. Это тренировка души, ее закалка.

Солженицына со временем будут читать совсем по-другому, нежели читали вчера и читают сейчас. Не как политического борца, не как «совесть нации»... Кстати, глупейшее выражение, которое повторяют либо не очень умные люди, либо ненавистники Солженицына, потому что коллективная совесть нации — это главная черта нацизма. Гитлер — это совесть нации в период германского фашизма. Он отвечает за нацию, с него и спрос. «Совесть нации» — оборотная сторона культа отдельной личности. Если какой-то части интеллигенции 60–70-х годов хотелось культивировать образ Солженицына в собирательную «совесть» всей нации, отказывая реальным людям в собственной совести, то это ее проблема.

Солженицына будут читать как невероятно увлекательного писателя. Выдернем с полки томик, откроем наугад. «Ленин в Цюрихе». Ведь это какое-то стилистическое чудо! Сколько энергии в каждой фразе, как закручивается образ главного героя — как вихрь, как смерч, как торнадо. Какое поразительное вживание в образ, как у гениального актера системы Станиславского, но при этом — какая дистанция, какой мудрый взгляд со стороны, и это уже не актерское, это чисто писательское искусство. «Один день Ивана Денисовича»... Ведь только Пушкин мог спрессовать в одном дне столько событий, так пространственно раздвинуть время.

«Бодался теленок с дубом»... Меня эта вещь когда-то «перепахала», как Ленина «перепахал» Чернышевский. Но не с точки зрения идей, а как пример того, как можно и нужно писать в XX и уже XXI веке. Без соплей, без красот, без описаний вообще, на одной только энергии сюжета и интриги. Как можно вдыхать в персонажей жизнь — одной фразой, одной деталью и даже одним невероятным синтаксическим приемом, точкой, запятой, тире. «Как он это сделал?!» Меня этот вопрос волнует не меньше «обустройства» России, уж извините, у меня здесь личный, жгучий интерес, страшная белая зависть к мастеру слова. Я тоже так хочу, а не умею, увы.

Я это к тому говорю, что предсказать все пути нового, иного прочтения Солженицына невозможно. В его прозу и публицистику вложен такой писательский труд, такая энергия души и ума, которые будут порождать самые непредсказуемые ростки в душах и умах будущих читателей. Здесь отцы и дети будут равны, как равны они в каждых поколениях перед Пушкиным, Достоевским, Толстым, Чеховым — этими не просто великими, но элитными русскими писателями, которых на каждый век отмерено считанные единицы.

Волноваться о долгой жизни творчества Солженицына не надо. Но о чем надо волноваться сегодня, сейчас, так это о том, чтобы в будущих поколениях не утвердился превратный человеческий образ Солженицына, созданный во время его жизни по очень разным объективным и субъективным причинам. Чтобы многослойная ложь, которой старательно, изощренно обволакивался его образ его врагами или просто недоброжелателями, а затем вольно или невольно тиражировалась умственно незрелыми, душевно ущербными людьми, да и просто нормальными людьми, которым так было легче понимать этого большого и сложного человека, — не окаменела в веках.

Ни о ком из русских классиков не наговорили столько глупостей, сколько о Солженицыне. «Донжуанство» Пушкина, «картежничество» Некрасова, «мнимое вегетарианство» Толстого, даже «прислужничество Сталину» Горького — это сущие мелочи в сравнении с тем, как можно извратить образ писателя, превратив ясного и светлого человека в темного монстра, как это было с Солженицыным. Особенно это резало глаза в последние годы его жизни, когда он мужественно сопротивлялся смерти, как солдат и труженик, буквально не давая ей возможности забрать себя в беспомощном, расслабленном состоянии. Объективная причина непонимания Солженицына, духовного типа его личности заключается, во-первых, в неистребимом безбожии нашей интеллигенции, часто скрываемом за показной верой и подчеркнутой церковностью, а во-вторых, в ее благоприобретенной уже в XX веке макрофобии — боязни Большого.

Но если безбожие — личный выбор каждого, пока не преступает некоторые из заповедей, вроде «не убий», то макрофобия — это болезнь духа, которой надо стыдиться. Масштабы Толстого и Достоевского восхищали и завораживали интеллигенцию не только девятнадцатого, но и Серебряного века. Невозможно представить себе, чтобы Блок или Мережковский на голубом глазу говорили о Толстом: «Ну куда он столько написал! Эти эпопеи, эти кирпичи! И вообще, это не художник, это публицист! Вот Федор Сологуб — художник! Один его "Мелкий бес" стоит всей "Войны и мира"!»

Чушь, дикость, бескультурье, которого ни Блок, ни Мережковский не знали, им и в голову бы такое не пришло. Современные интеллигенты — будьте любезны: «Ну какой Солженицын художник! Художники — это Шаламов, Венедикт Ерофеев, Довлатов... Кому нужны все эти кирпичи "Красного колеса"! Да одна поэма "Москва–Петушки" стоит всего Солженицына!»

Блок и Мережковский, услышав такое, просто не поняли бы, о чем идет речь. Знаменитый на весь мир писатель, властитель дум, 20 лет узелок за узелком распутывает ключевое событие мировой истории XX века — русскую революцию. Очевидно, что никто, кроме него, не способен охватить такой необъятный материал: от рукописных воспоминаний живых свидетелей до газетных заметок того времени. На 20 лет очень крупный писатель уходит в затвор, создает эпопею, беспримерную по глубине погружения в короткую временную эпоху, строит огромное здание, работая с микроскопом. «Зачем? Кому это нужно? Все эти глыбы!»

Ах, если бы он пил и написал «поэму» о том, как в пьяном виде ехал на свою дачу... Вот это было бы произведение...

Для культурного самосознания Серебряного века такие умонастроения были либо невозможны, либо позиционировались как откровенное хулиганство, вроде манифеста футуристов. Невозможны они были еще и в 20-е годы, а в 30–40-е годы вообще все умонастроения были по известным причинам заморожены. Но когда «оттаяло», оказалось, что в ледниковом периоде, по законам грубой биологии, выжили не мамонты, а самые простейшие организмы. Стали возможны любая чушь, дикость, с которыми Солженицын в силу своего отдаленного от современности происхождения и воспитания, по самому складу своей духовной личности спорить не мог, да и не хотел. Он писал то, что хотел, и говорил то, что хотел, а в данном случае ни писать, ни говорить было не о чем, и он отделался от всей этой бескультурной сволочи одной блистательной статьей «Образованщина».

Собственно, на этом битва исполина с карликами и закончилась. Ведь карлики не виноваты в том, что они карлики, но и исполин не обязан ползать перед ними на четвереньках. Исполин среди карликов «не скромен» одним своим ростом — но что поделать?

Беда в другом. Все эти невозможные (повторяю: в позапрошлом веке и начале прошлого — объективно невозможные) претензии к Солженицыну за его «серьезность», «нескромность», «тоталитаризм» перешли на его человеческий образ. Это и понятно, потому что там, где кончается культура, рано или поздно начинается «кухня», базар. И здесь не ищите здравого смысла, здесь все строится на простейших эмоциях, подсознательных фобиях, душевных комплексах.

«Ненавижу Солженицына!» — слышал я от вроде бы совершенно нормальных молодых русских эмигрантов в США. Господи, да за что? Что он вам-то лично сделал? И здесь, в России, сколько было ерничества и по поводу его бороды, и «френча», и «особняков» в Вермонте и в Москве. Посмотрите наши газеты 90-х годов и вплоть до самой смерти писателя: что бы они ни говорили о нем, даже в положительных, даже в восхищенных тонах, фотографии подбирались почти всегда одного вида. Руки крест накрест или воздетые вверх, на лице напряжение, во всей фигуре что-то диктаторское. Скажут: но они не придумали этот образ, они же его снимали! Да, его, но в режиме автоматной очереди, а уже затем выбирали из фотовыстрелов тот, что, по их убеждению, попал «в десятку». А «в десятку» почему-то всегда попадал образ Солженицына — «аятоллы», «диктатора», «тоталитариста». Проблема в том, что будущее время, конечно, обкатает этот образ, сгладит его шероховатости, наведет хрестоматийный глянец, но ложь в существе его останется, и никакими живыми свидетельствами этой лжи будет не выдавить.

Подобное произошло с Фетом. Долдонили при жизни: «Крепостник! Крепостник!» Потом вдруг открыли великого лирического поэта, но и «кре-

постник» остался, и вроде бы культурные люди даже находят в этом какую-то изящную парадоксальность: надо же — «крепостник», на Московский университет на глазах кучера плевал, однако какой тонкий лирик!

Ведь это с Солженицыным произойдет. Обнаружат вдруг великого исторического писателя, проницательного мыслителя, даже необычного стилиста, но и «аятолла» останется. И — будут смаковать «парадокс»: «Надо же, какой был умный, как с фразой тонко работал, а по натуре был диктатор, бешеный какой-то...»

Те, для кого Солженицын действительно дорог, не должны допустить окаменения вот этой несправедливости. Иначе — грош нам цена как культурной нации. И Европой мы не станем, где такое невозможно, и Азия от нас отвернется, где это тоже невозможно. «Неуважение к именам, освященным славой, есть признак ума невежественного», — писал Пушкин почти 200 лет назад.

У него была удивительная улыбка... Полная противоположность так называемой английской улыбке. Вдруг все лицо Солженицына, обыкновенно задумчивое, с несколько отрешенным от происходящего вокруг выражением (по крайней мере, в поздние годы, на публике), мгновенно озарялось, вспыхивало. Именно все лицо и сразу, словно включался электрический свет или солнце вдруг выходило из-за тучи. Описать эту улыбку в деталях нет возможности, как невозможно было не любоваться ею. Такую улыбку нельзя «поставить», она, несомненно, была бессознательным проявлением самой природы этого человека — радостной, любвеобильной, изначально созданной для счастья.

Конечно, «внешний» Солженицын был — броня, крепость. Но, имевший счастье недолгого разговора с ним наедине в квартире на Тверской (Козицкий переулок), я могу свидетельствовать: совершенно незнакомый ему человек с первых секунд общения с ним испытывал необыкновенную легкость, какая бывает при знакомстве с очень цельными, сильными, но и очень деликатными людьми. Он обладал отменным чувством самоиронии. Не боялся высказать своего незнания какого-то предмета, области культуры, всеми обсуждаемого имени. Искренне удивлялся какой-то новости, мог вспылить, в присутствии членов жюри премии вступить в жаркий спор с Натальей Дмитриевной (для него — Алей) по поводу какой-то мелочи... Вообще, в нем чувствовался «частный» человек, более привыкший к домашнему, а не светскому общению.



А.И. Солженицын в редакции журнала «Москва». 22 мая 1999 года

Он был порывистый и совершенно не светский человек. Светские мероприятия его сковывали, теснили обилием людей, все внимание которых было устремлено на него одного. Я думаю, отчасти именно этим объяснялась известная прямолинейность его движения среди публики, о которой злые языки шептали: «Идет — словно несет себя». За долгие годы литературного и общественного подполья, за 20 лет вермонтского уединения — как выработать светские манеры и зачем они ему? Чтобы нравиться всем? Он не ставил себе такой задачи. И все-таки было ужасно обидно слышать от разных людей невозможную дичь о «диктаторских» замашках Солженицына, дичь, проистекавшую не только от недоброй воли, но и просто от полного непонимания «частной» природы этого человека, с определенного времени вынужденного ограждать свою личную жизнь от толпы.

И конечно, вся эта забота ложилась в первую очередь не на него, а на Наталью Дмитриевну. Это была самая трогательная пара в истории, наверное, всех знаменитых людей. На съемках первого документального фильма о нем Станислава Говорухина Солженицын спокойно и с какой-то удивительной радостью признался, что без Натальи Дмитриевны «ничего бы не сделал». Но в их отношениях никогда не присутствовало даже тени того, что называется служением жены великому мужу. Мы, разумеется, не знаем об их личных, ежедневных отношениях, но шила в мешке не утаишь, фальши не спрячешь, и здесь определенно не было ни малейшей фальши, принятой позы, а была счастливая семья, которой можно только позавидовать. Посмотрите на их детей — разве можно воспитать таких троих сыновей вне атмосферы семейного счастья, полного доверия и равенства между отцом и матерью? И об этом, может быть, в первую очередь надо говорить на уроках в школе, где уже изучают Солженицына как русского классика. Не пугайте вы ради Бога детей Солженицыным — «трибуном» и «совестью нации». Не поймут они этого. Расскажите о том, какую счастливую жизнь прожил этот человек, несмотря на все испытания, которые ему выпали.

Павел БАСИНСКИЙ